

Скажешь, что луг — офтальмолог, и выйдет в десятку

Линзы вокруг, испуская веселые блики,
лист оседлали, и сила зеленой пружины
им на забаву... Блаженны очки на клубнике:
в оптике ягода — бледным губам именины!

Каждой былинкой, каждой случайной лозою
луг поклянется: линзу свою водяную,
ладно дружившую с ветром, с далекой звездой,
в бартер включить, на реальность меняя иную.

В небе ни облака, даль подливает румяна
в рюмку тюльпана, желая сказать насекомым:
«Дома ли, в офисе — даже кузнечнику пьяным
быть я желаю в отчизне, больной глаукомой!»

Скажешь, что луг — офтальмолог, и выйдет в десятку.
Если и детство припомнишь в лугах под Самарой —
сталью холодной чистит глазную сетчатку,
смотрит в тебя миллионом диоптрий суммарных.

Твой ли хрусталик огнем загорелся, рожденье
чужь в отчизне, где бабочка — лет проводница —
утро прочесть предлагает, как стихотворенье,
крылья свои раскрывая на новой странице?

Борису Гребенщикову

*Ой, Волга, Волга-матушка, буддийская река.
Б. Гребенщиков*

Лунным лучом ли, солнечным Волгу измерить —
Астрахань в астрах только счастливо вздохнет!

Зори здесь чистые, и над лиманами пери
в платьях прозрачных водят все дни хоровод.
Здесь хорошо оттого, что и Русь есть, и дельта.
Утром, в тумане теряет свой берег река.
Ветер-ревун, и безмолвие ровного света:
«Мир безграничен. Бакен не нужен. Пока!»

Вот потому только здесь, в камышовой ловушке,
словно маяк повседневный, рука из воды,
лотос растет, и лягушки стареют: «Пушкин!
Греки, Арина... Распутица... Алаверды!»
Волга в верховьях мордовья, чувашья, в татарах,
после по-русски ревет, по-калмыкски поет.
Только в конце, побывав и в Кремле, и на нарах,
лотос буддийский вживляет в аорту болот.

Пой, мой оранжевый, северный мой, эти кручи,
эту лесную, в духмяной листве благодать.
Дождик пройдет посевной и местами могучий —
нам ли колосья в мокрых полях собирать?
Вон за пригорком как синяя сильная птица
Волга мелькнула в изгибах тугих парусов...
Лотос — он логос, он гнет жестяную ключицу,
песней-клюкою в сердце ночное стучится:
— Эй, просыпайся... Я — Волга без берегов!

Время — пружина, способная мышцы качать

В жилах растений кровь ли, водяра течет?
Главный бухгалтер у лета по штату кукушка.
К вечеру ближе выдаст вам точный отчет:
сколько букашек съела за сутки лягушка?
Желудь в листве показался: лесной самовар
сладким залит молоком и густеет к июлю.
Дуб моей юности жив и коричнев, как мавр,
карму поэта принявший — дантесову пулю.

Ночью фонарики путь освещают домой —
в горы и выше, где конь мой любимый стреножен...
Хочешь, ложись с мертвецами в трехтомник родной
оцепенелой поэмой, на зиму похожей.
Или в глазах-васильках продолжай летовать,
славить литовкою быт кропотливый, крестьянский...
Время — пружина, способная мышцы качать.
Лето — Офелия, ждущая Гамлета ласки.

Посланные в мир за молоком

Мало кто на родине нас ждет:
лишь ольха да речка с камышами,
где мальков ловили малышами
и не знали азбуку забот.
Мало кто на родине нас ждет.

Забываясь в утренней игре,
путали мы с куклами девчонок.
Солнца свежеструганный бочонок
плыл, качаясь, в жидком серебре.

И по светлым залам проходя,
дух тепла озвучивал березку,
а гроза казалась нам расческой
для волос внезапного дождя.

И, живя, не ведали о том,
как в другую жизнь входили утром:
тонкие, прозрачные, как будто
посланные в мир за молоком...

Ночная гроза и ее последствия в определениях и описаниях

Белою накипью полнится кадка
в старом саду под жасмина кустом.
Молния — нить, золотая закладка
между таинственной ночью и днем;
щель, сквозь которую чьи-то глазищи
зорко подглядывают, как артель
пьяных студентов идет на кладбище...
Плетка, кошмары, слезы, дуэль!
И, вместе с тем, не приучена к травле
тени, что зябко дрожит за углом,
молния кормит целебные травы,
в жизнь воплощает мечты ГОЭЛРО.

Общие определения грозы:

а) *старый склерозник, гаремом убитый,
перебравший ночью порой
женские плечи, кудри, ланиты,
словно бы четки молитвы земной;*

б) *огненный сад, где под грохот оркестра
в праздник распяты народом Христа*

*Понтий Пилат не нашел себе места:
совесть болела, а думал — чиста!*

С чем бы грозу ни сравнить, — априори —
ложью окажется каждый подход,
ибо по небу, как катер по морю,
блеск поножовщины к югу плывет.
Вот: завернул за кладбище и рошу,
сел, приподнялся на цыпочки, и —
огненный столб в своем горле полощет,
словно глоток золотого Аи!

P.S.

Утром, копаясь в своем огороде,
звякнешь лопатой не раз и не два:
это вдогонку огню и свободе
кварцевым плавнем грозитя трава!

За окном качнулась ветка

За окном качнулась ветка...
Чу: такой сегодня день!
Мне живую силу ветра
в губы вкладывать не лень.

Пусть качается, живая,
долго в памяти моей,
удивленно узнавая
звон церковный, крик гусей,
поле сжатое, дорогу,
приводящую домой —
все, чего нельзя потрогать
в неподвижности земной.

Кто я для стихотворенья,
этой ветки за окном? —
Мир живого отраженья,
сон во сне, случайный дом...
И расходится кругами,
в ложном сумраке лучась,
что пока еще не с нами,
но уже глядит на нас.

Уходили бойцы всенародного фронта искусства

Джону Маверику

За границу земного, за строгий логический смысл
уходили бойцы всенародного фронта искусства.
Жеребята кричали — у мамок кончился кумыс,
а трава молодая была недоступна их чувству.

Уходили бойцы, им вдогонку врала простыня,
уверяя: «Я — парус... Я — пара морскому простору!»
В полутемных подвалах бокал поднимали, звеня,
за народное счастье и музыку сфер Пифагора.

Я бы тоже ушел вместе с ними — от неба ключи
мне хотелось найти и заплакать, как в детстве, от счастья.
Но в спецчасти сказали: от голода строчка урчит,
и дворец вдохновенья распался сегодня на части.

За кудряшками облака — смех и живая возня...
«Как проник ты сюда, за решетку земного мышленья?»
И лимонная бабочка круп украшает коня,
и в полнеба сияние — радуга стихотворенья!

Командировка на Землю

Эпопея

Однажды мы выйдем и снова войдем
в тела молодые сквозь нитку льняную,
и станем собою, и вещим дождем
прольемся на темя, на тьму золотую.
Когда?.. Ожидания сон позади!
Июль пожелтевшей гремит погремушкой,
и снегом обещаны миру дожди,
и сны, как стрекозы, висят над подушкой.

Не будем и думать об этом... Не раз
шагали мы через таможенную разлуку.
И ветер в окошко свой рыжий фугас
бросал, вытирая о зрителей руки.
В просторах зеркал намечалась возня —
ее занавешивали боязливо,
чтоб Пушкин, полозьями санок звеня,
не сшиб в огороде растущую сливу.

И Ангелы с лицами, как у медуз,
на стол накрывали, до синь-горизонта
умея создать благодатный союз
юдоли земной и небесного фронта.
И вся говорливая наша родня
спешила к застолью с хорошим подарком:
от Хана Батыя — уздечка коня,
от рода Романовых — радуги арка...

И Пушкин с Дантесом, пройдя сорок бань
и семь операций по части тщеславья,
в пещерные страсти кидали герань
и пели бесполому небу: «I love you!»
Вдоль речек, похожих на речки земли,
летали прозрачные мыслеформы,
и верил Фома, и повсюду цвели
фантомы удачи повышенной нормы...

А где-то в провинции, сжав кулачки,
кричали младенцы в родильных покоях:
еще не забыли, как пели сверчки
про копоть печную и время лихое!
Но дух разворачивал новый виток,
как ставит геолог в пустыне палатку...
О, если бы грешный поэт только мог
земными словами сказать — и в десятку!

Всею ратью живых, на земле не записанных строчек

Лимонарий небесный, где всюду — светящийся сок,
где цикута и вишня цветут одинаково ярко.
На Земле не отыщешь заимку — такой уголок,
где небесный росток посадить и растить для подарка.

Вон скользит по лучам чечевица — челнок рыбака,
сети лунные тонут в поэтах, бездомных от века.
И опять забирает к себе мирозданья река —
не спастись и не выплыть за буй золотого парсека.

Эта гибель прекрасна. Она простотою растет,
где ночную молочную радугу дерево точит,
как литовку брусок, и где правда на кривду идет
всею ратью живых, на земле не записанных строчек.

Нарисуй, Хокусай, херувима российских распутий

Разве знал Хокусай: его жизнь возведут в степень куба,
вычтут цену билета на спутник, летящий к луне,
и в провинции русской веселая девушка Люба
обвинит его в магии, корни которой — в вине!
Люба — друг ФСБ, украшение закрытого сайта.
Хокусай ей знаком с Костромы, по журнальной статье.
Он вином разбавлял свои нежные краски, и сальто
на картине волна совершала в святой простоте.
Кувыркалась волна, как гимнаст на открытом манеже,
то ко дну приникая, то снова летя к облакам...
Но в полоску костюмы носили все реже и реже,
и волну Хокусая прибрать не успели к рукам.

Пили краску картины, как русский мужик-каторжанин,
что послушную жизнь променял на сибирский рудник,
и в глазах Хокусая далекие звезды мерцали,
и вода из картины на старый лилась половик.
Что-то вспомнил тебя я сегодня, мой брат по искусству,
когда час протрезвонил: «Пора в лебяную кровать!»
В раннем детстве читали мы «Так говорил Заратустра»
и бежали в леса, чтобы было, о чем вспоминать.
Этот мир — тот же лес, обнесенный колючей железкой,
с пылесосом у входа и с бубном шамана в кустах,
где на ветке сухой всенародный сидит Достоевский,
ну а Гоголь смешит, наступая на собственный прах.

Нарисуй, Хокусай, херувима российских распутий
с Алконоста улыбкой и юным фаюмским зрачком,
чтобы вишни цвели и беседовал с Ангелом Путин,
и поля Украины добрели пшеничным зерном.
По ту сторону зла, где волна откровеньем богата,
и летит полукругом, и в берег стучится крутой,
ходит девушка Люба, все ищет пропавшего брата —
Хокусая-бродягу с разбитой агентом губой.
Нарисуй и ее, но игривой таежной косулей —
той, которой не стала, но очень хотелось бы ей...
Есть дорога к себе и старинное слово «рисую»...
Остальное — у Бога — в пучине мятежных морей.

Земной создатель ноосферы

В тенетах счастья соловыха
читает Фета наугад.
Стихи имеют вход и выход
и окна в отдаленный сад,

в котором все желает сбыться,
иметь длину и ширину...
О, эти радостные лица
у облаков и гроз в плену!

На атлантические жвалы,
на Колыму случайных строк
в России миллион сбежало
и отбывает жизни срок.
Не так проста задача эта:
в плену у мебиуса дней
быть дворником ночного света
и сторожем речных огней.

А кто ушел и кто вернется
через миллениумы лет —
Кулибин, Тесла, Песталоцци —
не тот же труженик-поэт?
Держась за жизнь руками веры,
среди молекул-пузырей
земной создатель ноосферы
и ярких радуг Назорей.

И мы плывем с тобою Ноем
за лет неброский окоем.
Ведь кто-то должен быть странною,
лесною ягодой, дождем.
И, тяжестью двойною мечен,
услышав будущего зов,
глядеть на мир глазами речек —
подледных, черных, человечьих, —
их разнотравных берегов.

И логин «lessibiri» был таков

«Сосиска» «sos» хранит, угрозу иска.
У каждого по тысяче собак
на mail.ru... Но светит Божья искра
в ночи индустриальной кое-как.
И сердце, словно лунная тарелка,
ей отвечает нежностью самой.
По ноутбукам мира скачут белки,
роняя иглы в сочный травостой.

И в Заполярье, и в пустыне Гоби
цветет экран, и сердцу не до сна.
Братаются мужчины в синей робе —
ну, чем тебе не вечная весна?

И шепчут нам компьютерные сети,
мигнув семью диодами, о том,
что мы в веках — общественные дети,
Вселенной разум в облике земном.

Как прорастают тэги в человеке?
И что такое «трафик для стихов»?
Я вывернут наружу, я телеги
протяжный скрип, пугающий волков.
А сосны вдоль дороги тянут лапы
под капельницей тающих снегов...
Простите, сосны, мы не виноваты:
в нас заменили кой-какие платы,
и логин «lessibiri» был таков!

Генштаба не будет, и выставят Рейх на продажу

На кончиках слов загорелись недобрые чувства...
Ну, вот вам и стрелы, а лук поищите в траве,
где века кумир, на коленях ползет Заратустра
к оленям Сибири, к сермяжной народной молве.
Ему бы на поезде, в мягком вагоне качаться,
как в люльке младенцу, и цокать на дам языком,
когда они вносят в купе, как букеты, оваций
целительный плеск, обдающий лицо ветерком.

А цель? А весна? А светящийся шарик удачи?
А мышка, сожравшая в сне кровожадном сову?
Отец его, Фридрих, уже сумасшедший, на даче
себя самоваром представил и льет на траву.
Не плачь, Заратустра! Зане азиатское лето
знакомит телят с телевиденьем в пору дождей,
да вечером поздним в зеркальных просторах Завета
летает литовка и слышится ржанье коней.

Я сам тебя встречу в траве, под кузнечика скрипку.
Я — хищная птица, я — тень, полюбившая свет.
Ползи, словно ластик, размазав былые ошибки
по русскому полю, смертельному жалу в ответ.
Генштаба не будет, и выставят Рейх на продажу
за цену смешную, я верю — билет на футбол,
и будущий Гитлер этюдник и кисти закажет,
которые в прошлом столетье закинул под стол.

P.S

Книга Фридриха Ницше «Так говорил Заратустра» была настольной книгой Гитлера. Будущий фюрер в молодости увлекался живописью, дважды поступал в Академию художеств, но не прошел по конкурсу. В эти годы — вот парадокс! — Гитлер всячески уклонялся от военной службы. А Фридрих Ницше вскоре после

написания своей книги сошел с ума и последние десять лет провел в психиатрической больнице...

Однажды я пригласил в своем воображении Заратустру на Алтай, и вот что из того получилось...



Балакирь стеклотарой заменив,
гарцует век на цаце-жеребенке,
прообраз же стоит себе в сторонке
среди берез, беспечен и игрив.
В его хвосте на тысячи ладов
звонят национальные оркестры,
и мошки запись делают в реестре:
«Еще один смычок для вас готов!»

А где же скрипка? Вот она, внутри
футляра, под краснеющей корою,
колец-годов увлечена игрою,
еще не знает лака и витрин!
Садись и слушай подлинник живой
без электронаушников и денег.
Ее первичный звук звенит, как Терек,
как воздух леса раннюю весной.

Прообразы сверкают изнутри,
впадая в мир прозрачную рекою.
«Стеклянный шар покоя над покоем»,
как Хлебников когда-то говорил.
И от березы голубая тень
примеривает плед из паутины,
и Моцарт с Бахом — редкая картина! —
на пне играют в шахматы весь день.

Альфа и Бета, любовь и война

Альфа-любовь и Бета-война
ходят в обнимку по улочкам Риги,
в сумку кладут неучтенные миги,
чуть покрупнее — уже времена!
Что им стеклянный на третьем балкон,
где под Шульженко кружатся девчонки?
Время их тянется синей филенкой,
филькиной грамотой в бездну времен!

Пулю найдут ли в газонной траве,
ржавый фугас раскопают на грядке —

долго играют, безумные, в прятки
с тенью события в голове!
«Двадцать второго июня... На старт! —
произнесет патетически Бета.
Альфа заплачет: «Я не одета
в мысли убитых под Минском солдат!»

Альфа и Бета, любовь и война...

Лето гранитные книги читает.
Рига на ригах и скирдах считает,
сколько же павших примет Луна?
Сядут у речки две грустных сестры,
возле березы кривой и патлатой...

— Помнишь, меня ты убила когда-то?
— Не разводи в моем сердце костры!

В гостях у шамана

Горы опять в облаках, словно курят алтайскую трубку.
Старый шаман на скрещении нижних миров
в бубен ударил, и белой породы голубку
сердце увидело и подарило ей кров.
Сердце увидит всегда, где улыбка китайца
китель украсит ли, небо смешает с дождем...
В хитрых морщинах паук отложил свои яйца,
целится глаз в кошелек мой: о сколько же в нем?

Старый шаман шевелит, словно угли, акашу...
Был ли я воином? Баем алтайским? Слугой?
Призраки прошлого пьют свою участь из чаши
самопознания, мешая отвар кочергой.
К богу гармонии, к веком забытой былине
тянется робко в свете коротком душа...
Что ж ты, шаман, не наделал лошадок из глины?
Эта дорога была бы легка, хороша!

Мчимся по вектору солнечной, скорой удачи,
ищем незнаемо что, для экзотики сна.
Словно солдаты, числа стоят Фибоначчи
возле аила с рюмкою, полной вина.
После Востока Запад глядится мальчишкой
с белым пушком над обиженной, пухлой губой.
«Видел Судьбу свою?» Я отвечаю: «Не слишком!»
«Тыщу гони еще... Будет удача с тобой!»

Снял свои кеды шаман и сует в них валюту...
«Это на сотовый духу из верхних миров!»

Ветер Алтая с лютнею, обликом лютый,
без усилителя камень осилить готов.
В ухо свистит, полицейской наукой владея,
юбку алтайке задрал и глядит озорно...
Я оглянулся: была ли борьба за идею?
Был ли тот мальчик, что горы вопросов посеял
и не припас на ночлег золотое руно?

Хариус в полдень

Стоит обнаружиться букашке
над прибрежным кружевом теней —
мнет тугую воду, как бумажку,
хариус, блеснув среди камней.

А была отмечена свеченьем,
бирюзой и нежностью река,
постигая вечности значенье,
отражая в небе облака!

Но волна плеснула, как из фляги,
на прибрежный камень, где припек,
и опять глядит из-под коряги
хариуса пристальный зрачок.

Жук скользит ли, ползает улитка —
тень им, как защитница, нужна.
Тонкою прозрачною былинкой
заблудилась в небе тишина.

Где-то вдалеке пасутся грозы
и уснул усталый ветерок...
Гетры полосатые — стрекозы —
новый провоцируют рывок.

Судьба

Не нужно знать мне географию,
чтоб Федю Макова найти.
Куда ушел ты? В фотографию!
Часы застыли на пяти.

Потрогал стрелки: семиструнный
раздался звук из темноты...
На этой плоскости латунной
поют и гайки, и болты!

Но защити от мыслей диких,
росой омытый новый день,
касясь тенью повилики
судьбы российских деревень!

Они под мышкою у Бога —
насушных дел невпроворот!
Им помогает агни-йога
сельскохозяйственных работ.

И что бы там ни говорили,
а утром в поле трактора
на сходке пахоты и пыли
опять берут свои права.

А Федя Маков умер в спальне
среди задернутых гардин
среды особой, криминальной,
всегда на людях и — один.

В бреду пришла к нему деревня,
обдав весенним ветерком,
и веки по привычке древней
омыла теплым молоком.

Камышовая истина — утка в уютном гнезде

Камышовая истина — утка в уютном гнезде.
Панорама шершава, бородавчата даже пеньками.
В небе солнце висит, как на старом и ржавом гвозде,
и с уключины капли, стекая, стучат кулаками.
Обостренность, внимательность, горная тишина,
где обвалы часты и туманы в родстве с облаками.
Утка строит гнездо в полуметре от рыжего дна,
в полумиле от неба, от смерти — подумайте сами.

Ширки, шорохи, мыши, и пулею жук-плавунец
пролетает под ней по какому-то важному делу.
Это жизнь. Это счастье. Недолгий, но яркий венец
церебральной пленительной ряби у водораздела.
Я весло опушу и замру в ожидании встреч
с облаками и небом, и небылью в крупном размере.
Утка кормит утят. И блестит заостренно, как меч,
над Алтаем заря, и в своей утверждает веру.

